
ЖИЗНЬ ПУШКИНСКИХ СТРОК В ТВОРЧЕСТВЕ И.С. ШМЕЛЁВА

Я.О. Дзыга

Государственный институт русского языка им А.С. Пушкина
Ул. Академика Волгина, 6, Москва, Россия, 117485

Автор статьи изучает одну из наиболее актуальных проблем творчества И.С. Шмелёва. Наблюдения свидетельствуют о большом значении в его наследии классических образцов, связанных с традицией Пушкина.

Ключевые слова: Шмелёв, Пушкин, литература эмиграции, классика.

Тема «Шмелёв — Пушкин» до сих пор не была предметом пристального внимания литературоведов. Между тем совершенно очевидно, что творчество ярчайшего представителя русского зарубежья явилось развитием и продолжением пушкинского опыта в новых условиях литературы XX века.

Пушкин был одним из авторов, составлявших круг литературных интересов будущего писателя в детстве. «Открывшийся мне в первые годы детства духовный его образ с годами стал только глубже и, пожалуй, еще необъяснимей» [Шмелёв, 2001. Т. 2. С. 288], — констатировал уже зрелый писатель.

С годами отношение Шмелёва к Пушкину менялось в сторону большего благоговения и преклонения перед гением поэта. Этому обстоятельству способствовало не только творческое и человеческое самоопределение автора «Лета Господня», но и драматические обстоятельства его внешней жизни.

Култ Пушкина в эмиграции связан с восприятием творчества поэта как символа русской культуры. Бессмертное наследие классика воссоздавало утраченные и поэтому особенно дорогие образы Родины, давало надежду на возрождение России. Вокруг имени поэта объединялись лучшие силы эмиграции, художественные и политические оппоненты. Не случайно Днем русской культуры была определена дата рождения Пушкина, а столетие со дня смерти поэта стало одним из самых значительных культурных событий в жизни русской эмиграции всего мира.

Глубокая самобытность творчества и внутренняя свобода, считал Шмелёв, отличительные особенности пушкинского гения:

«Умней, свободней — не было писателя! Всегда, во всем — сам! Никогда — „шпаргалок“» [Шмелёв и Бредиус-Субботина, 2003. Т. 1. С. 543].

По мнению автора «Богомолья», Пушкину нет равных не только по части поэтики, но и художественного зрения, духовного проникновения в глубинные основы бытия.

«Толстой был бы неизмерим, если бы понимал Тайну: он был слишком „из земли“, — чудеснейшей, правда... но Достоевский, в этом („из земли“-то) коротковатый, буйно творил „из себя“, мучительно пронзая „тайны“. Толстой был суховат и сердцем, пуская в оборот „ум“ и „глаз“. Чудесное сочетание — Пушкин» [Там же. С. 631].

Прямых апелляций к Пушкину в творчестве Шмелёва немного. Собственно великому предшественнику посвящены автобиографический рассказ «Как мы открывали Пушкина» (1926) и речь, прочитанная на торжественном собрании в Варшаве 11 февраля 1937 года, приуроченном к столетней годовщине смерти поэта («Пушкин 1837—1937»). И тем не менее с полным основанием можно говорить о мощнейшем пушкинском притяжении, оформившемся в плодотворную и созидательную для писателя-эмигранта классическую традицию. И хотя, по слову С.М. Бонди, «встреча с Пушкиным» — важнейшее событие для каждого русского писателя, случай со Шмелёвым особенный. Речь идет о концептуальной соприродности доминант художественных миров и целостного духовно-творческого облика двух художников.

На протяжении всей своей жизни Шмелёв ревностно продолжал заявленную Пушкиным традицию воплощения в творчестве исконных начал национального духа. В изгнании он являлся одним из самых последовательных выразителей и ревнителей духовных основ русского народа. Более отчетливо заявившие о себе в эмиграции эти каноны были представлены уже в дореволюционном творчестве писателя.

Наследие Пушкина для литературной эмиграции, по признанию А. Карташева, стало чем-то вроде «светского евангелия». Так, именные поздравления Ильину Иван Сергеевич сопроводил следующим советом:

«Проведите день Ангела благостно с Наталией Николаевной, читая Пушкина. Как на Пасху в обедню — от Иоанна Евангелие, — так в день Ангела — своя обедня, домашняя, — только Пушкин. Он меня порой утешает и закрывает — все. И Россию вспомнишь, и душу очистишь» [Ильин, 2000. 1927—1934. С. 438].

Сокровенные мысли о Пушкине Шмелёв часто передоверял своим героям, особенно автобиографическим. В чистом виде эти настроения представлены, пожалуй, в «Истории любовной». Эпизод с влюбленным «Тонькой-Ваньчиком», до слез измучившим себя безуспешными попытками стихотворства, заканчивается вдохновенной молитвой-экспромтом:

«Я напрягал все воображение, проглядывал стихи в хрестоматии, даже Пушкина у сестер достал... Прочитал „Буря мглою небо кроет“. Я даже оглянулся: может быть, Пушкин видит, его душа, как какой-то стриженный гимназист... Я закрыл книгу с трепетом. „Прости, великий Пушкин! — прошептал я молитвенно, — я не... это, а только хочу учиться, благоговеть... Ты видишь мое сердце! Осени меня твоей светлой улыбкой Гения!“» [Шмелёв, 2004. Т. 6. С. 47].

Похожую ситуацию переживает героиня «Путей небесных». После встречи с Вагаевым в Дариньке смешались чувства. Она перечитывала особенно пленившие ее страницы «Евгения Онегина» и в мечтах воображала себя Татьяной, отданной судьбой другому, «а он был Дима»:

«Даринька перекрестилась на икону Казанской — благословение матушки Агнии, и с ужасом увидала, что опять не оправила лампадку. Оправляла, а слезы текли, и она утирала их рукавом, не зная, о чем плачет: мешались в ее сердце боли.

„Я вас люблю — к чему лукавить?

Но я другому отдана;

Я буду век ему верна“» [Шмелёв, 2001. Т. 5. С. 153].

Показательно, что уже первый печатный опыт писателя связан с именем Пушкина. В восьмом классе Шмелёв написал рассказ из народной жизни «У мельницы», который приняли в толстый журнал «Русское обозрение». И хотя знающий редактор безошибочно обнаружил у начинающего писателя несомненное влияние «Записок охотника», Шмелёв впоследствии вспоминал, что вдохновился атмосферой заброшенной мельницы во многом благодаря пушкинской «Русалке». Потом, когда рассказ уже появился, он стеснялся того, что напечатал выдуманную историю, за которую ему заплатили деньги, и ему «стыдно было смотреть на Пушкина».

В дальнейшем глубокая связь творчества Шмелёва с пушкинским наследием уже не пресекалась, по-разному обнаруживаясь на всех уровнях художественного текста. Чаще других на страницах шмелёвских произведений возникают образы Татьяны Лариной, Онегина, Ленского, отмеченного Провидением Пророка. Автора «Богомолья» вдохновляют гениальные строки «Анчара», «Воспоминания», «Полтавы», «Пира во время чумы», «Бесов», «Пиковой дамы», «Осени», «Медного всадника» и др. Писатель либо прямо называет импонирующие ему или герою произведения, либо приводит выдержки из них. Так, в «Записках не писателя» художник погружает своего персонажа в пушкинскую стихию:

«Помню деда... и его редко-душевный склад. <...> Он был добрый русский человек душевно-чистый. Правда, с изломами. Как бы его понял Пушкин! Не навязываю же себе, что в маме было от... Тани Лариной!» [Шмелёв, 2001. Т. 3. С. 293].

Образ любимой героини Пушкина был особенно близок и дорог Шмелёву. С ней писатель связывал представление о женском идеале, в ней видел воплощение образа самой России. В статье «Мученица Татьяна», эпиграфом к которой послужили строки знаменитого ответа Лариной на запоздалое чувство Онегина, Шмелёв пишет:

«Обе во мне объединяются: Мученица, память которой ныне, и другая Татьяна, Таня, пушкинская Таня, образ утраченной России...» [Шмелёв, 2001. Т. 2. С. 501].

Этот образ многократно возникал на страницах произведений Шмелёва. Здесь уместно вспомнить рассказы «Марево», «Перстень», «Записки не писателя», роман «Пути небесные», статьи «Мученица Татьяна», «Слово о „Татьяне“», «Верный идеал», «Заветная встреча».

В рассказе «Марево» узнаваемый онегинский мотив запоздалых прозрений героя становится отправной точкой сюжета. Как и в случае с пушкинскими персонажами, Степан Аполлинариевич Кадырин в свое время не оценил глубоких чувств белозерской красавицы Паши Разгуляевой. Но если у Пушкина объяснение Онегина с Татьяной закончилось знаменитым «братским» наставлением («Учитесь властвовать собою»), то у Шмелёва несостоявшиеся откровения вылились в «пошлые», по определению героя, разговоры о Художественном театре и «о личном... в идиотском Брандте»:

«Мигают звезды: „ну же, говори! не встретишь лучшей! никогда не встретишь...“ <...> Что удержало?... Что-то, мелочишка?... <...> Ну, будет „верная подруга и добродетельная мать...“ Вспомнилась свобода, океаны, планы... „экзотика“!.. И — не сказал» [Шмелёв, 1999. Т. 7. С. 228].

Спустя годы случай в Монте-Карло воскресил в сознании героя вторую встречу Онегина и Татьяны:

«Вижу — Паша, из Белозерска Паша! Но — какая! Царица, королева. Онемел. <...> Ну, как... Онегин и Татьяна. Хуже!..» [Там же. С. 231].

Рассказ Шмелёва «Почему так случилось» интонационно и содержательно связан сразу с двумя стихотворениями Пушкина: «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» и «Воспоминание». «Ах, это стоит романища», — восхищался писатель последним шедевром. И тут же уточнял: «Но и в этом как бы роман» [Ильин, 2000. 1927—1934. С. 238].

Бессмертные поэтические строки вдохновляли писателя на публицистические выступления. Пушкинский след обнаруживается в статьях «Крушение кумиров», «Слово И.С. Шмелёва», «Подвиг», «Верный идеал», «Сынам России», «Заветная встреча», «Книга о вечном» и др.

При этом важно, что классические образы, сюжеты и мотивы не только способствовали приращению смысла шмелёвских произведений, но и сами получали новую жизнь в контексте его творчества. Обращение к пушкинской традиции оказалось плодотворным приемом, открывающим множество перспектив: можно было взглянуть на произведения классика «сквозь призму исторических перемен XX века» и в полной мере оценить провиденциальность пушкинских текстов [Богоявленская, 2001. С. 151].

Шмелёву довелось на собственном опыте испытать последствия исторических потрясений, противником которых всегда был Пушкин. Сначала это случилось во время красного террора в Крыму, потом — в неприветливой, чужой Европе во время эмиграции. Скорбные размышления писателя о плачевном положении человечества, предавшего забвению нравственные ценности и основы бытия, находят неожиданное разрешение в творчестве поэта:

«Для меня так ясно, что на „экзамене провалились...“ — все! И продолжают прежнюю канитель „провалов“ <...> Ходить по кладбищу и — лелеять жизнь! а в душе встает пушкинское 13-строчное... отчаяние: „Свободы сеятель пустынный, — Я вышел рано, до звезды...“» [Шмелёв и Бредиус-Субботина. Т. 2. С. 331—332].

Катастрофичность революционных событий у Шмелёва ассоциировалась сразу с несколькими классическими образами. Особенно созвучными эпохе духовного безвременья оказались пушкинские «Бесы». В представлении Шмелёва большевики — новоявленные бесы, а насаждаемый ими чудовищный порядок вещей — не что иное, как торжество зверя. Отчаянные слова бывалого ямщика для автора «Богомолья» — символ прельстившейся социализмом России, которая воплотилась в гоголевский образ «Птицы-тройки». Об этом писатель поведал в «Слове на чествовании И.А. Бунину», высказав твердую убежденность в том, что «„Птица-тройка“ найдет дорогу... метели знакомы ей» [Шмелёв, 1999. Т. 7. С. 484].

Мотив потери пути, знакомый по пушкинским «Бесам», «Метели», «Капитанской дочке», в «Солнце мертвых» трансформируется в мотив духовного тупика:

«Держит дикарь в шлыке обгорелую черепушку, пальцы сует в глазницы... пощелкивает... — был какой-то! На перевале снега, пустые дороги в море... пустые — за горами. И дальше — снега, снега... Ну, какие, куда — дороги?!» [Шмелёв, 2001. Т. 1. С. 615].

В ориентированном на пушкинскую «Метель» рассказе Шмелёва «Глас в ночи» безысходность энергии бесов преодолевается покаянными настроениями героя-помещика и смиренной готовностью участников метельного приключения внимать Промыслу.

Нити, идущие от пушкинских «Бесов», угадываются в шмелёвских образах людей-волков из произведений «Каменный век» и «Кровавый грех». В последнем сестра милосердия с ужасом рассказывает, как в первую после революции пасхальную ночь отпущенные новой властью на волю каторжане вырезали семерых человек из семьи товарного машиниста:

«Вырезали двое болтавшихся с вечера „матерых“, двое „волков из тайги“. Зарезали, ограбили и пропали в метельной ночи» [Шмелёв, 1999. Т. 7. С. 308].

И неудивительно, что люди, у которых отняли Бога, захвачены ненавистью и злобой. О таких «шайтанах-волках» старый чабан из «Каменного века» говорит:

«Я все знаю. Я правду-закон знаю. Я человека рукой подыму из ямы, а волка за ноги в балку кину. Бог велит!.. Знаю. Не жить волкам! Я все знаю... Стал человек волк, — убей волка. Бог велит!» [Там же. С. 190—191].

О темном в душе человека, стремящемся «<...> поглотить человеческое, увлечь гармонически-светлый дух в самоволье вихрей и бурь глубинных...» [Там же. С. 396—397] Шмелёв предупреждал в своих публицистических произведениях. В статье «О Достоевском» метафизически мыслящее зло у писателя персонифицируется в тяжелую поступь Командора.

Атмосфере трагических событий XX века как нельзя более соответствовал дух «Пира во время чумы». Пророческие пушкинские строки у Шмелёва часто служат иллюстрацией к происходящему в мире:

«<...> На мировой сцене разыгрывается трагедия борьбы величайших сил Бытия: Добра и Зла, Бога и дьявола. Трагедия захватывающая: гибель всего. Пушкин проникновенно определил таинственную тягу человека к грозящей гибели:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья, —

Бессмертья, может быть, залог» [Шмелёв, 1999. Т. 7. С. 568].

Интеллигент Укропов из рассказа «Прогулка» видит в этих словах предвосхищение надрывности Достоевского. «Блаженство ужаса» — удел балансирующего на грани безумия героя рассказа «Это было». Но человека здравого ни «воплощение смерти в жизни», ни «пьяный разгул меча» отнюдь не обращают к вечности. Об этом не без горькой иронии рассказывает герой «Прогулки»:

«Один мне писал <...> — говорил веско Хмыров: — Почему возмущаетесь? Почему самому Пушкину не верите?! — „Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю“! — Подошло мальчику под ребро. Неделю в погребке прятался. Полагаю: не до „упоения“ было» [1. Т. 2. С. 91].

Тонкий психолог, Шмелёв отчетливо видел разницу между Вальсингамовским трагическим отчаянием и «нечаянием трагического» удушливой атмосферы советской России.

Писателю-эмигранту, пережившему унижение и гибель величественной России, восславленной поэтом, импонируют гражданско-политические унастроения классика. Державность пушкинского миропонимания, его патриотизм особенно близки и понятны Шмелёву:

«Пушкин воспел Россию. <...> Воспел Россию имперскую, великолепную. Мы ее держим в сердце. <...> Сын России, ее Певец, он возвышал свой голос народной гордости в трудные дни ее. Он ответил клеветникам России достойным словом, не боялся клейма — „раб царский“» [Шмелёв, 1999. Т. 7. С. 519].

В приверженности монархическим идеалам Шмелёв всецело на стороне Пушкина. В том, что власть царя дана от Бога, не сомневается даже малолетний герой «Записок не писателя». День, когда, по слову кузнеца Акимова, «проклятые анафемы» царя убили, навсегда остался в памяти мальчика одним из самых страшных дней в его жизни:

«Я все сидел в снегу, от страха стуча зубами, и вдруг в ушах у меня загремел голос кузнеца: „нашего Царя убили!..“ Нашего Царя?.. красавца, с высоким хохлом? — портрет его висел в кабинете деда. Царя нельзя убить, он — священный, Помазанник <...>» [Шмелёв, 2001. Т. 3. С. 310—311].

Однако там, где Пушкин был, по выражению С. Франка, «величайшим <...> политическим мыслителем XIX века», Шмелёв оставался несвободным от заблуждений русским писателем. Он говорил о себе:

«Я не мыслитель, не политик. Я — русский человек и русский писатель. И я стараюсь прислушиваться к правде русской, т.е. к необманивающему, к совестному голосу духа народного, которым творится жизнь» [4. С. 15].

Этот голос внушал Шмелёву чувство гордости за «Священную Историю России», где воочию представлена «Рука Водящая» и данность России миру. Такая постановка вопроса была отсылкой к известному пушкинскому высказыванию, которое как неоспоримый аргумент приводит писатель в статье «Как нам быть?»:

«...Ни за что на свете я не хотел бы ни переменить отечества, ни иметь другой истории, как историю наших предков, такую, какой нам Бог ее послал» [Шмелёв, 2001. Т. 2. С. 484].

По твердой вере Шмелёва, Россия единственная способна увлечь человечество с фальшивых европейских авеню на главный путь, в «Богом показанную в туманной дали Усадьбу» [4. С. 41]. Русская дорожная ширь, открывающаяся перед героем рассказа «Железный дед», прочитывается как знак укорененного в истории прочного порядка, на фоне которого громкие «победы» советского времени выглядят не очень убедительно:

«А вот и одиночные столбушки на лесных прогалах, меченные клейменными орлами, — порядок чащ. Эта дремная чаща елей и эти черные выжженные орлы говорили мне хмуро — верь! И я поверил. Я поверил неменяющимся полям, немой, как и прежде, чаще, и накрепко врезанным орлам, и давнему-давнему большаку, с грибами и корнями на колеях, и стучащим вороньим стаям, и воздуху... Какая же тут — „Победа!“» [Шмелёв, 1999. Т. 7. С. 256].

В целом взгляды Шмелёва на проблему «Россия—Запад» схожи с пушкинскими. Недоверие поэта к прогрессу в европейском его понимании, представление о мессианской роли России и неприятии ее Западом получили многочислен-

ные отклики в публицистике и эпистолярном наследии Шмелёва. Так, в речи, посвященной столетней годовщине смерти Пушкина, автор «Богомоля» цитирует особенно близкие ему строки из стихотворения «Клеветникам России», проецируя их на современную ему общественно-политическую ситуацию:

«...В бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир,
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?» [Шмелёв, 1999. Т. 7. С. 519].

Точно так же и мессианство России виделось писателю в свете пушкинской традиции. В августе 1945 года Шмелёв в письме к Ильину напомнил свои же слова трехлетней давности о наступающей для России полосе «вселенского прославления». Теперь, после победы в кровавой войне, по мнению писателя, полностью подтвердилась их провиденциальность:

«С Россией — пришла пора — считаться, Она — вышла в мир, вышла, как „сеятель пустынный“, — пока! — но назначенный Свыше — обсеменить мир, осолить его, гниющего, — вознести, управить» [Ильин, 2000, 1935—1946. С. 362].

Рассмотренные случаи не исчерпывают многообразных проявлений пушкинской традиции в творчестве писателя-эмигранта. Однако они являются не только свидетельством шмелёвских приоритетов, но и еще одним доказательством приверженности автора «Богомоля» художественным тенденциям русской классической литературы.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Шмелёв И.С.* Собр. соч.: В 5 т. — М.: Русская книга, 2001.
- [2] Шмелёв И.С. и Бредиус-Субботина О.А.: Роман в письмах: В 2 т. Т. 1. — М.: РОССПЭН, 2003.
- [3] Шмелёв И.С. и Бредиус-Субботина О.А.: Роман в письмах: В 2 т. Т. 2. — М.: РОССПЭН, 2005.
- [4] *Ильин И.А.* Собр. соч.: Переписка двух Иванов (1927—1934). — М.: Русская книга, 2000.
- [5] *Ильин И.А.* Собр. соч.: Переписка двух Иванов (1935—1946). — М.: Русская книга, 2000.
- [6] *Богоявленская И.М.* Пушкин—Чехов—Шмелёв // От Пушкина до Чехова. Чеховские чтения в Ялте. Вып. 10. — Симферополь: Таврия-Плюс, 2001.

THE LIFE OF PUSHKIN'S LINES IN SHMELEV'S WORKS

Y.O. Dzuga

State Russian Language Institute by name Pushkin
Academician Volgin str., 6, Moscow, Russia, 117485

The author of the article studies one of the most actual problems of Shmelev's works. Observations convince that the majority of a classical example connect with Pushkin's traditions.

Key word: Shmelev, Pushkin, emigration literature, classical.